

*Школьная библиотека*

Жорж Санд

Графиня  
Рудольштадт



Харьков  
«Фолио»  
2018

---

## ГЛАВА 1

Зала Итальянской оперы в Берлине, построенная в первые годы царствования Фридриха Великого, была в то время одной из самых красивых в Европе. Вход был бесплатный, ибо за все спектакли платил сам король. Для доступа в театр требовался, однако, билет, так как все ложи предназначались определенным лицам: одни — принцам и принцессам королевской фамилии, другие — членам дипломатического корпуса, знаменитым путешественникам, ученым из Академии, генералам. Итак, повсюду — члены семьи короля, лица, состоящие на жалованье у короля, фавориты короля. Впрочем, роптать не приходилось — ведь то был театр короля и артисты короля. Для добрых обитателей доброго города Берлина оставался лишь маленький кусочек партера, ибо большая часть его была занята военными — каждый полк имел право присылать по несколько человек из каждой роты. И вот вместо веселой, легко воспламеняющейся и восприимчивой публики Парижа артисты видели перед собой «героев шести футов ростом», как называл их Вольтер, в высоченных шапках, причем большинство из них сажало себе на плечи своих жен. Все это вместе составляло неотесанную, пропахшую табаком и

водкой толпу, которая ни слова не понимала, таращила глаза и, не осмеливаясь ни аплодировать, ни свистеть из страха перед инструкцией, все-таки производила много шума, так как ни минуты не оставалась в покое.

Позади этих господ находились два ряда лож, откуда зрители ничего не видели и не слышали, но где они неизменно присутствовали, ибо приличия ради вынуждены были регулярно посещать спектакли, которые столь щедро преподносил им его величество король. Сам же король не пропускал ни одного спектакля. То был отличный способ всегда держать на виду многочисленных членов своей семьи и беспокойный муравейник придворных. Фридрих следовал примеру отца, Вильгельма Толстого, который делал то же, но в плохо сколоченной зале, где, слушая плохих немецких комедиантов, королевское семейство и его двор умирали со скуки в зимние вечера и терпеливо мокли под дождем, пока сам король спал. Фридрих долго страдал от этой домашней тирании, он проклинал ее, он вынужден был ее выносить, но, едва успев стать властелином, восстановил этот обычай, как и многие другие, более деспотические и более жестокие, всю прелесть которых он оценил теперь, когда сделался единственным человеком в королевстве, переставшим от них страдать.

Однако сетовать никто не смел. Здание оперного театра было великолепно, отделка роскошна, артисты пели превосходно, и король, почти всегда стоявший у рампы, подле оркестра, с наведенным на сцену лорнетом, являл собой образец неутомимого меломана.

Всем известно, что Вольтер, вскоре после того, как он водворился в Берлине, восхвалял великолепие двора «Северного Соломона». Раздраженный пренебрежением Людовика XV, невниманием своей покровительницы — госпожи Помпадур, преследуемый иезуитами, освистанный во Французском театре, он уехал в минуту досады за почестями, за большим жалованьем, за титулом камергера, за

орденом Почетного легиона и за дружбой короля-философа, еще более лестной в его глазах, чем все остальное. Словно большой ребенок, великий Вольтер дулся на Францию, воображая, будто неблагоприятные соотечественники «лопнут с досады». И, как видно, он слегка охмелел от своей новой славы, когда писал друзьям, что Берлин не хуже Версаля, что опера «Фаэтон» — превосходнейшее зрелище, а у примадонны прекраснейший голос во всей Европе.

Однако в тот период, когда мы вновь начинаем наш рассказ (чтобы не утомлять память наших читательниц, скажем сразу, что со времени последних приключений Консуэло прошел почти год), зима оказалась в Берлине весьма суровой, великий король слегка приоткрыл свою истинную сущность, и Вольтер успел порядком разочароваться в Пруссии. Он сидел в своей ложе между д'Аржансом и Ламетри, уже не притворяясь, будто любит музыку, которую никогда не чувствовал так сильно, как истинную поэзию. У него болел живот, и он с грустью вспоминал неблагоприятную, но пылкую публику парижских театров, чье неодобрение причиняло ему столько горя, чьи аплодисменты доставляли столько радости, — публику, соприкосновение с которой так сильно волновало его, что он поклялся никогда больше ее не видеть, хотя не мог помешать себе беспрестанно о ней думать и трудиться для нее не покладая рук.

А между тем сегодняшней спектакль был превосходен. Стояли дни карнавала, и все члены королевской семьи, даже маркиграфы, нашедшие себе жен в глубине страны, собрались в Берлине. Давали «Тита» Метастазиио и Гассе, и обе главные роли исполняли двое лучших артистов итальянской труппы — Порпорино и Порпорина.

Если наши читательницы сообразуют слегка напрячь память, они припомнят, что эти два действующих лица не являлись мужем и женой, как это можно было бы предположить по их псевдонимам. Нет, первый был синьор Уберти, обладатель изумительного контральто, а вторая

Zingarella Консуэло, замечательная певица, причем оба являлись учениками профессора Порпоры, который, по итальянскому обычаю того времени, позволил им носить славное имя их учителя.

Надо сознаться, что синьора Порпорина пела в Пруссии далеко не с тем подъемом, на какой она чувствовала себя способной в прежние, лучшие времена. В то время как чистое контральто ее партнера звонко раздавалось во всех уголках берлинской Оперы, оберегаемое всеми благами обеспеченной жизни, привычкой к неизменным успехам и постоянным жалованьем в пятнадцать тысяч ливров за два месяца работы, бедная цыганочка, быть может более пылкая и, уж конечно, более бескорыстная и менее приспособленная к ледяному холоду севера и прусских капралов, не чувствовала сейчас особого воодушевления и пела в той добросовестной, безупречной манере, которая не дает повода для порицания, но и не вызывает энтузиазма. Энтузиазм артистки и энтузиазм публики не могут не быть взаимны. Так вот, в дни славного царствования Фридриха Великого энтузиазма в Берлине не было. Пунктуальность, повиновение и то, что в восемнадцатом столетии, и особенно при дворе Фридриха, называли разумом, — таковы были единственные добродетели, какие могли расцветать в этой атмосфере, температуру которой устанавливал король. Никто из собравшихся в этой зале не имел права вздохнуть или пошевелиться, если на то не было его высочайшего соизволения. Среди всего этого множества зрителей только один из них мог свободно отдаваться своим впечатлениям, и это был король. Публику олицетворял он один, и хоть он был хорошим музыкантом, хоть он любил музыку, все его способности, все склонности были подчинены такой холодной логике, что королевский лорнет, словно прикованный ко всем жестам и ко всем переживаниям голоса певицы, не только не воодушевлял, а, напротив, совершенно парализовал ее.